
НЕБО ЦВЕТА МЯСА
ВОЙТ СОДОМА

НЕБО ЦВЕТА МЯСА

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Птицы

Я увидел в окне три пролетающие птицы. Они мерещились мне на сером от непогоды небе, и всегда их было три. Больше птиц и вовсе не наблюдалось. Я встал из-за стола, словно понял что-то. Сил занавесить окно не нашлось, поэтому свет бил в меня пустым сиянием, доносящимся с каймы и туч и белеющих облаков. И вот опять: три чёрные птицы сжались в треугольник и порхали, как злые осенние осы, будто у меня перед носом. Ноги сами покинули дом. А когда свежесть воздуха обволокла меня, я задохнулся.

Их преследовало молчание — оно было впереди, как вожак. Осмотрев некогда цветущий сад, в котором находился мой дом, я обомлел от серости крон и винограда. Я видел ссохшуюся лозу и скрюченную жухлую траву у подножия изгороди. Но путь мой длился ещё. Я вышел из сада и направился к серой реке, к серому водопаду. Лицо застилалось гонимыми ветром листьями, отчего моментами я пугался и слеп. Идти дальше было опасно, так как я находился вблизи водопада, который поливал моё тело, как спринклер.

Я нырнул, уши заложило водой. Кто-то кричал о помощи вдали, за рекой, и это был молодой женский крик. Потом три птицы полетели в сторону голоса. Я даже не успел разглядеть их как следует. Что же, если птицы дружелюбны, они, наверняка, помогут девушке.

Я питал ложную надежду с ложечки. И тогда дождь обрушился на волосы.

Вокруг свернулись ежи. Я в ужасе осознал это.

Cannabis

Запах земли под солнцем на просторном огороде с фермой. Горячие истоки простираются вплоть до морей, вечно плетя в лабиринтах. Существо, которое за этим стоит, велико. Более того, оно вечно с нами. Однако я продолжаю искать существо, которое я видел во снах. Она с розами, и она темна... Но не стоит вспоминать те дни.

Сейчас я — владелец клочка рая, и я счастлив до глубины души, я трагичен. Под цвет луны она танцует пение ночи. Она поёт прекрасно, как будто богиня, создавшая уши. Чуткие уши.

Вот я снова спокоен, присев на траву. Гулкий день зовёт, а я сижу, сижу себе тихонько, как заяц, и смотрю. Куда смотрю? Не знаю сам. И ничего — ладно уж. Буду продолжать любить. Мне ещё требуется вспахать огород и уснуть навсегда на кровати, впитывая свет из темноты.

Волос за волосом

Волос за волосом. Я опускаю волос сначала в одну ёмкость, затем в другую. Вскоре мне надоедает этим заниматься. На пороге моего дома, над ним, стоит очень приятный невежественный вечер, слегка румяный, но лишь слегка. Я вижу закат через штору. Смотря на то, чем я занимаюсь, становлюсь понурым. Это ли оно — дело моей жизни?

Я в ярости бросаю волосы, сортированные прежде, в пустоту, и они валятся, подхватываемые ветром. Довольно буесловия! Больше чернокнижия!

С полки рвётся в мои руки чёрная книга. Она сера от пыли и блестит от цепей, что связывают её, завершаясь толстым американским замком… Удивительно, что позволяли себе американцы в те времена, когда писалась эта книга. Я открываю страницу первую. Там пишется о том, кто автор. Автор — неизвестен. Всё выцвело до такой степени, что, казалось, читаешь не рукописное произведение, а сборник картин, написанных по мотивам чумы. Несмотря на внутреннее недовольство, упорно читаю каждую строку. Если что-то недопонимаю — перечитываю…

Неопознанный текст

Да что копать эти ямы? Обезьяную злость вымещать на людях. Строптиво колоть вены острыми накалёнными иглами. Да я же похож на падаль, которой питается падальщик. Точь-в-точь. Я ведь состою из этого — переоценки, сожаления от невосполнимых ожиданий. Да я ведь погружён по ноги в мир, который другим кажется оспой. Никогда прежде я не был так огорчён, как сейчас, общаясь с ней. Я снова чувствую слабость своих слов.

Огонь и ночь

Маленькая девочка ворочалась под одеялом, прячась от кошмаров. Дом пустовал. Сова с яркими жёлтыми глазами смотрела из окна, не моргая, и протяжно пела колыбельную.

Затем девочка проснулась. Одеяла не было на ней. Кругом — летние заросли.

Только маленький мальчик стоял у костра, а рядом люди, которых он знал. Вскоре они идут домой засыпать. А девочка просит помощи, хотя хочет остаться среди костра и голого огорода.

Потому что сова с жёлтыми глазами приближается и, найдя девочку, останется здесь навсегда.

Сумеречные переживания

Чем ты ревёшь? Сладкая нота бушует: кристаллический пар из недр открытой ямы, и я шевелю глазами под твой тихий смех. Чем ты ревёшь? Твой плач доносится между коричневыми стволами в ярком лесу, где каждый лист — панацея, а каждая ветвь уходит глубоко в землю корнями. Здесь светится падаль.

По мёртвому лесу бродить, как скиталец, рвать грибы или головы человеческие. Солнце накрывает большая гранитная плита. Тут же сводит уши и суставы, челюсти. Язык сворачивается в трубочку, зубы остро болят.

Это сумеречные переживания.

Бал № 4

В 1960-х годах Жана-Поля Сартра с богом отождествляла молодёжь Франции. Альбер Камю трогал бубон, чтобы лучше и честнее показать чуму в «Чуме», словно главный герой той антиутопии с Большим Братом.

Что-то во мне изменилось

Под толстыми снегами я обнаружил заметённое тело ребёнка. Он был бледен как смерть и тяжело дышал. Из его лёгких клубился пар, что не удивило меня, ведь здесь холодно. У него на ресницах висели борозды сосулек, но он не моргал.

Я присмотрелся — ребёнок оказался мной. Я хотел было сразу поднять его, очистить от многолетних снегов, покрыть одеялом его, однако не нашёл в себе сил. Я так и стоял, взирая на него, как вдруг он зычно закричал:

— Убирайся!

Мой страх улетучился, как спирт, и я слизал улыбку с лица. Я был зол на себя маленького и поэтому ударил его по голове ногой, он застонал. Потом вновь крикнул мне:

— Убирайся! — но я тут же повторно нанёс ему удар.

Мы так обменивались любезностями до самого вечера, пока не стемнело. Нужно было спешить, и я сказал ребёнку, чтобы он ждал меня на этом же месте завтра.

Наутро я вернулся. Прошлоночный снег опять запорошил тело. Когда я откопал себя, я понял, что умер. Ребёнок не двигался и глядел на солнце, как труп.

С того дня что-то во мне изменилось.

Богодьявол

После долгих лет беснования на дьявола снизошло успокоение, и он снял чёрный плащ. Свои рога он повесил на стену над пылающим камином, а хвост оторвал и поместил в банку, заполнив её водой. Красное тело своё он отмыл под водопадом одной из райских трущоб. Дьявол побледнел, стала видна щетина, как у человека, и мышцы расслабились. Глаза его обернулись чистыми внемлющими. Но дьявол оставался дьяволом для всех остальных. Теперь его путали с фермером — до тех пор, пока он не начинал говорить; свой жуткий голос ему не под силу было исправить.

Жизнь на земле изменилась в лучшую сторону. Люди более не желали навечно забываться в своих снах, потому что реальность приобрела их красоту; писатели останавливались на грани самоубийства и, ослеплённые, садились за новые романы; животные приручались без труда, даже дикие, живущие в лесах; небеса воспевались художниками целостно и по-голубому; зимой снег блестел розовым светом, а летом трава шелестела очищенными ветрами; озоновый слой окреп; исчезли тропинки, ведущие к болотам, и сотни птиц меняли направление над городами, не боясь быть застреленными; прошлое аккуратно фотографировали и вставляли в рамку; настоящее наряжали платьями и бусами; будущее отпускали с цепей, давая ему взглянуть на день.

Дьявол расхаживал по истинно задуманному богом миру, пил фруктовый сок и ел фруктовую мякоть. На него никто не оборачивался. Все были заняты своими семьями, друзьями, положениями. И как-то становилось ему не по себе. Хотя злоба ушла, что-то осталось с ним внутри. Он щупал стены ада. Нет, не слышны вопли. С недавнего времени преисподняя опустела, как вена мертвеца, и дьяволу было одиноко вечерами. Он уволил чертей, затем отдал в хорошие руки демонов. Не чувствуя искушения, он перестал искушать и других. Так излечились души от потребности в лекарствах. Забыли про смертный одр. Матери возвращались из больничных палат к своим сыновьям.

«Зажили, — думал дьявол. — Я был причиной всех бед».

Возможно, это продолжалось бы вплоть до восстановления бессмертия. Однако в один день к дьяволу пришёл взволнованный бог.

— Что же ты сделал? — говорил он. — Тебе не следовало распускать свои руки.

— О чём ты? — удивлялся дьявол.

Бог показывал земной шар.

— От меня отреклись церкви. Люди никогда не вспоминают обо мне, не молятся мне. Ведь они уверены, что их ждёт помилование. Они не ведают греха.

— Я не виновен, — отвечал дьявол жутким голосом. — Я всего лишь успокоился.

— Но ты повлёк.

Бог зарыдал. Бледный дьявол обнял его.

— И потом, — всхлипывал бог, — с кем мне бороться отныне? Ради кого я искупил смерть?

— Эти люди не касаются нас, боже.

Бог отошёл и взмахнул рукой. Тысячелетия закружились над их головами, убегая вспять.

Он приблизил своё лицо над сплошным океаном. По нему плыл ковчег.

Бог поднёс палец и окунул ковчег на дно.

Улитки

По ясной земле ползли улитки, у каждой родимое пятно. Они медленно направлялись на ту сторону болота, чтобы отведать мясо свежего кошачьего трупа. Летающие мухи разогревали их утробную растительную ярость, и улитки, кряхтя слюной, ускорялись на слизи. Ветер дул им в лица, швыряя рожки глаз налево и направо, будто деревья, и рвал щёки. Под ними было белое, белое небо. С одной точки зрения — светло-серое, с другой — бледно-сиреневое, как лёд над весной. Это небо горело обидами. Птицы, летящие по нему, падали распятыми, как Христос, в таких же одеяниях. Вокруг ничего не предвещало хорошего дня, но улитки, словно не видя этого, карабкались вперёд.

Болото было всё ближе. Кошачий труп был всё ближе. Улитки ползли.

Карты

— Признавайся, мы все видели твой обман.

Анфиса смотрела на небо, когда эти слова обратили к ней.

— Что именно вы видели? — устало спросила она.

Картограф самодовольно улыбнулся. Ребята, окружавшие его, — следом. Затем он взял с глянцевого красного стола карту, присмотрелся к ней и показал Анфисе. На титульной стороне зрело фиолетовое семя. Росток, стремящийся вверх, распадался на множественные листья. «Библейский канон» было написано на карте.

— Ты походила этой картой перед Молли, — сказал картограф. — Твоя задача была проста — побить «Судную суну». Но что сделала ты? Намеренно выбрала «Канон», так как знала наши ходы.

— Я уверена, что карты краплёные! — вмешалась Молли.

Тем временем поднялся ветер, и Анфиса загляделась на деревья. Рассеяно переведя взгляд на картографа, она съязвила:

— Вы слабые черти. Уметь проигрывать — надо уметь проигрывать.

Картограф в ужасе отбросил карту. Ребята злобно оскалили зубы.

— Ты играешь не по правилам.

— Вполне по правилам, — ответила Анфиса. — Эту игру я знаю как свои пять пальцев. Вам, друзья, стоит больше играть. Слишком слабые черти. Более того, мне неинтересно играть с ними на смерть — вы никогда не умираете.

Анфиса осмотрела стол и пальцами схватила карту «Красный Будда». Она крутила её, вызывающе оглядывая присутствующих.

— Предлагаю сыграть на жизнь, — с улыбкой сказала Анфиса. — Тот, кто проиграет, отдаст победителю свою душу.

Картограф заметно повеселел:

— Принимается!

Ребята, признаться, поначалу боялись кивать. Но отступать было нельзя — иначе как оправдают они свою честность? И все согласились.

«Красный Будда» опустился на поверхность игрального поля. Анфиса дала начало.

Освободив место, картограф разложил каждому участнику буддийскую карту — так как Анфиса открыла именно эту религию, — пожелал удачи и замолчал. Вместе с ним затих ветер.

На столе лежало пять карт. Молли взяла свою и тревожно осмотрела руки игроков. Они сделали то же самое.

Её карта изображала «Девятый холодный ад». У Анфисы — «Второй огненный ад». У картографа — «Бодхисаттва».

Двое остальных игроков остались в тени.

Первый ход поступил от перепуганной Молли. Трясущимися пальцами она накрыла «Красного Будду» и прошептала:

— Я отдаю часть своего кишечника.

В тот же миг она походила картой и скрутилась, жалобно скуля в густые волосы.

Следующий ход был за картографом. Однако он тянул мучительность момента до тех пор, пока Молли не пустила слёзы. Её карта изменилась на «Седьмой холодный ад». Картограф облизнул губы.

— Отдаю глаз, — сказал он и походил. «Бодхисаттва» потерпел трансформацию.

Картограф опечалено вздохнул.

Анфиса ничего не сказала и покрыла своей картой все остальные. Держась за глазную впадину, картограф раздал новые.

— Проигравшие забирают из колоды свои карты.

Оставшиеся в тени ребята застыли от невыразимой боли. Они выбыли, отказались ходить, и поэтому тихо-тихо горели за столом, сгорбившись спинами. Дневной ветер распалял их горение, словно угли.

Когда Анфиса готовилась кидать карту, тела этих ребят были в копоти и волшебной пыли.

Зазвенел колокольчик.

— Отбираю любовь у Молли, отдаю ноготь, — походила Анфиса. Её новая карта — «Кама-Мара».

Картограф через силу выдавил из своего рта, что отдаёт часть мышц. Только карта коснулась стола — он обмяк.

Молли подняла румяное, заплаканное лицо и отдала свои волосы. Помедлив, достала из кармана фотографию возлюбленного. По правилам игры двое проигравших, оставшихся с одним победителем, могут объединить силы. Так и сделали они. Однако их карты даже совместно не достигали той силы, которую таил в себе «Кама-Мара» Анфисы.

Они застонали от поражения и от потерь, выбранных ими.

Полуслепой картограф озабоченно раздавал карты. Молли, переставшая любить, не двигалась, смирно чего-то ждала.

Новые карты участников.

У Анфисы на сей раз ничего особенного: «Восемнадцатый мифический горячий ад».

У картографа — апокрифический «Слог Ом».

У Молли — «Паломничество к Дереву Просветления».

Проигравшие, без предварительного согласования, объединились. Оба думали о том, как поскорее окончить эту дьявольскую игру, и Молли с пустыми глазками сказала:

— Жертвую кожей, слюной и руками в случае поражения.

Уточнив, Молли поставила условие, при котором сила её карты возрастала, а тело ничего не теряло до момента возможного поражения. Это был акт надежды.

Картограф походил молча. Анфиса зажато улыбнулась.

При раздаче карт во второй и последующие разы их не было видно, и все участники находились в тревоге. Анфиса убрала со стола кость в огоньках. Тела ребят исчезли на дым.

Держа слабую карту, Анфиса нервничала и кусала щёку. На удивление всем, ход сопровождался тишиной. Все затаили дыхание.

Наслоённые друг на друга карты сперва загорелись белым огнём, затем вспыхнули, замерцали, зазияли светом, будто бы в них сходила с ума метающаяся стрекоза. Всё завертелось, закрутилось. Картограф приблизил к столу своё лицо, чтобы посмотреть, но увиденное там ослепило его. Он завопил и прижал руки к глазам. Они наполнились чёрным цветом. Взревел ветер. Чернота из глаз кинулась на реальность. Хорошее солнце потерялось в облаках. Выплыли христианские демоны из рая.

А Молли плакала по потерянному возлюбленному в темноте.

Перевод с японского

Когда я взяла в руки лёд, он не таял. Луна, в свою очередь, помещалась на ладони вполне хорошо — я могла с лёгкостью повернуть её или оторвать кусок.

Вопрос, который может вас заинтересовать, опережу и отвечу, что луна прекрасна на ощупь. Будучи чем-то схожей с глазами, всеми своими свойствами она повторяет их упругость, резиновую эластичность, воспаление.

Есть ли сестра?

В серой смертности напавшего на мой город тумана я нашёл незримое, мрачное желание крушить то, что когда-то сделал своими руками. И всё началось с обычного игрушечного домика из печенья. Я подошёл ближе к своей маленькой сестре, обнял её, сказал, что пришло время изменений. Она, по правде сказать, горько плакала, когда я ел её вселенную, изувечивая пол крошками, которые тут же таили под нашими тёплыми ногами. Следом она позвала маму. Мама, грозная, пришла в комнату и посмотрела на меня взглядом вызывающим, рассудительным и строгим.

— Зачем ты обидел сестру? — спросила она, пригрозив кулаком.

Я же не обижал никакую сестру. У меня вообще нет родных. Я так и сказал маме; на что она громко рассмеялась и позвала отца. Отец пришёл пьяный, ничего слушать не хотел, попросту избил меня до крови и синих хрипов из горла. Я остался лежать под тающими осколками вкусного шоколада, вдыхая перебитым носом нечто тёплое, невесомое, загадочное… Одним словом, то, что так любила моя маленькая сестра. Я прикусил язык, зная, что у меня — нет сестры. Но это только при родных… На самом же деле — у меня есть сестра. И ещё какая! Добрая сестра, взрослая — какая же она маленькая?

Она многое увидела. Она, к примеру, видела меня в сером тумане. Мало кто меня видел в нём… Видели мертвецы, видели боги, ушедшие со службы по собственному желанию. Видела, полагаю, старушка Смерть, так как я частенько прогуливался около её мясной избушки.

Видели меня косматые крокодилы, спрятавшиеся по глаза в болотах-колодцах. Там они высматривали меня, как добычу, а я ступал по ним, как по блокам, и не смотрел на небо. Я знал — на небе марево.

***

Всё обернулось, когда три слезы, скатившиеся долгими ледяными потоками с глаз моей сестры, затопили мои бокалы. Мои бокалы были пусты. Я не пью алкоголь. А тут — пить слёзы собственного горя. Она плачет не потому, что ей тяжело. Она плачет потому, что я — не живой. Тяжело, подумаешь! Мало ли кому тяжело… Не зазнавайтесь, крокодилы, и на вас найдётся свой…

Хайку

Я отвлёкся на пейзаж неба, и Хайку сказала мне, что ей пора домой.

В тот же момент святотатство заката исчезло, небо — показалось мне вычурным и тусклым, и я обернулся к ней, схватил за руку, которую она тут же постаралась вырвать. Её тоненькие брови сжались в гневе.

— Не уходи. Останься, — молил я. — Я куплю тебе «Шаншоситэ».

Она любила это мороженное. Но сейчас Хайку, видимо, была так зла на меня, что пропустила это мимо ушей. Мне стало противно находиться в своём теле, ведь я видел сжалившиеся глаза Хайку — честные, морские глаза. Но они не были голубыми. Отвращение к собственному имени… Этого я достиг в тот момент. Я не мог выносить её взгляд!

Хайку смотрела на меня, как волк на волчонка.

— Я устала от тебя, — сказала Хайку. — Ты каждый день повторяешь одно и то же. Ты мыслишь как глупый материалист. Ты читаешь Лондона. Ты пьёшь мутную водку. Мне перечислять? — Хайку ударила меня по щеке. — Мне продолжить?! Ты думаешь, что можешь завлечь меня мороженным! Самым дешёвым шоколадным «Шаншоситэ».

Я проглотил слюну.

В моей сумке, обёрнутый целлофаном, лежал чёрный хлеб. Я достал его и отломил кусочек, покрошил голубям, которые летали недалеко от разгорячённых нас. Хайку наблюдала за моей добродетелью смешно. «Что ты хочешь? — думала она. — Голуби!» Да, обычные птицы, отливающие фиолетовой рябью на перьях, кружили.

День

В коричневой тишине кипел чайник. Он стоял на плите и являл собою запредельную тягучесть времени, которую нельзя побороть. Мне казалось, что каждая следующая секунда должна быть последней — перед тем, как засвистит выпуклая крышка. Но всё было зря. Я ждал и только и делал, что ждал, пока вода бурлила, как море, разбиваясь о стенки чайника внутри, как о скалы в бухте.

Потом я отдёрнул штору. Лицо залило светом, я задохнулся. Оранжево-белый, он полз по потолку то ли молоком, то ли паутиной. Чистый, словно ярая свеча, порхающая возле рясы инока.

Чайник вскипел. Я снял его с плиты, налил дымящийся кипяток в пустую чашку с надписью «Inferno». Что означает она? Я не мог вообразить. Подаренная чашка долгое время стояла на пыльном столе, не использовалась мною, и поэтому движение — заливание воды — давалось мне свежим, новым, первобытным ощущением.

Отвлекающие мерцания лампы приводили меня в ступор. Я забывал, что хотел сделать и для чего наполнял чашку. Есть ли вообще у меня то, что я хотел заварить? Оглядывая беспорядок на столе, прихожу к выводу, что нет.

Не составило труда позвонить на неизвестный номер и жалобным голосом попросить каштанового кофе. Мне вежливо кивают и говорят, что «с радостью».

Я ложусь на кровать, закрываю глаза, выливаю в горло остывший кофе, кривлюсь, утешаюсь мыслями о родственниках, снова кривлюсь; панциреобразная спина сдавливает мои рёбра; я кривлюсь. Мечтаю, пожалуй, разбогатеть. Хочу иметь детей. Хочу жить по-другому, счастливо, без христианского возвышения духа, без стоического героизма моего молчания, без страха перед завтрашним днём.

Но!.. Но трагически обёртываю лицо в платок, плачу, слёзы льются сквозь, застилая мои блестящие обувь и штаны. Чрезмерная любовь находится в том же месте, в котором бушует изжога, и я часто путаю их, подавляя что-то одно горькой таблеткой.

Травка

Этот смех разносится из-под земли.

Я стою в тёмном проёме двери и смотрю своими глазами-щелями. Кто-то находится в этом доме. Я должен выстоять эти гляделки с самой смертью. И в этом мне поможет револьвер.

Я достаю его и нажимаю на курок слегка.

***

Чёрная собака движется прямо к сероугольному дому. Её глаза согреты марлею. Она глядит в оба!

Реклама.

Раздаётся звук взорвавшегося будильника. Смех оранжевой женщины. «Расскажите про покупки!»

***

Ну кто его знает? Этого существа. Никто не видел его голоса и ног. Никто не видел его слоновьей головы. И мяса под лицом.

Как забавно! Смотреть забавно! Театр уничтожен людьми-крысами.

Жатва

Пожилой лесник полз по родному поваленному лесу, корчась от душевной боли всякий раз, когда видел бревно дуба. Трупы деревьев ничем не пахнут, не гниют, не распадаются. Они проживут так дольше людей, молчаливые и погасшие, сухие трупы, лежащие и дрожащие от перетянутых пылью ран.

Осенью они все заговорят, у них откроются рты, и они не позволят этой белой сове продолжать наживаться в их дупле, поэтому закишат подобные кладбища совами, птицами, летучими мышами, когда они встанут. На весь мир раздастся не то песня, не то плач, но в обоих случаях весёлый лик этих трупов примет образ, встанет, зашевелится, заморгает! Корни прогонят вон червей, змей, кротов и всех, кто хотел слиться с ними, и тоже встанут, выползут, полетят над бескрайними городами, островами, церквями, господинами, королевами! Они оплетут чрева. Листва задышит, засияет, и закружатся вихри из них пылающих. Иные, как стрелы, обрушатся на каждого из людей; иные, как безмолвные щиты, огородят мир от себя.

Стоит будет ужасаться огню, вздымающемуся над простором полей и плато. Деревья не тронут лошадей, пойдут дальше, дальше, дальше! Они ворвутся в глаза, в открытые рты, в тела, в дома — словом, не будет, где спрятаться от них.

Лесник думает об этом и жуёт лиственницу, прорастающую из него, сглатывает мокрую траву, но его лишь тошнит, и всё по новой! Он не может заговорить сквозь пучки бука. Горло стонет и обливается кровью, словно сердце, и вязь тугим, густым комом листвы пролазит через крохотный рот. Щёки дуются, тянутся, рвутся от силы, преследующей его. Звучит хруст в его голове, ломаются и гнутся косточки ушей. Рост тянется выше, ему нет конца. И они выпархивают из рта, выстреливают кровью и окровавленной кроной; но нет им места, не хватает поля, не хватает земли, в которую можно было бы пустить корни.

Лесник падает лицом в траву. Сперва застыла шея, голова неестественно шевелится, словно под роем муравьев, и шея сгибается назад. Букет увеличивается, волосы лесника падают, и на их месте розовые цветы пробивают себе путь. Лицо искалечено царапинами и рваной головой. Череп открылся, как дверь, и пульсирующий, сдавленный ветвями мозг тихо сочится на землю мёдом. Тело пухнет, розовеет, под кожей гуляет ветер, и свистит нечто весёлое в глубине живота, куда пробрался одинокий кленовый лист. Лесник запел перед смертью. Взорвалась его оболочка, мешок с семенами.

Взорвалась, лопнула, как петарда, и из мяса хлынул бесконечный тополиный пух, застилая твои глаза.

Праздник

Накануне обновления моя душа пустилась в пляс. Угомонить её танцующие ноги мне не под силу, но брови мои, насупившись, глядят поверх глаз. Я презрительно наблюдаю за её выходками. Глупец посоветовал заговорить, но душе заложило уши напрочь, как если бы слушать птиц на дне реки. То ли мстит она мне, то ли я позволяю? Я соглашаюсь со словами эпилептика: злодеяниями и страданиями моими не позволю унавозить кому-то будущую гармонию.

А я честно глазею на себя. Самокритично, но честно. За что я был избит им? Теперь мои рёбра жутко болят с правой стороны. Надуть свои лёгкие воздухом мне больно, и спать мне больно, и двигаться. За то я был избит, чтобы сейчас, с оторвавшейся душой, праздновать праздник? Нет же! — за то, что я ужасно тих и скучен, как лес; я мог бы сказать, что мою красоту можно распознать, приглядевшись, а в случае с лесом — прислушавшись, но пусть мне никто не верит, ведь веры мне нет. Я ношу голубую вину, столь же голубую, как лето, как цветочный яд.

Это коптят свиньи. В своём свинарнике им разрешено крутить траву и набивать её табаком близрастущих растений. У них всё на птичьих правах — попробуй рявкнуть. Сотрут на золу, не сотрут только глаз, чтобы не успел моргнуть.

В гуще диких колокольчиков змеятся змеи, и мне горько признавать, что мои попытки слиться с ними увенчаются успехом. Что я могу предпринять?

Жалость к собственному телу. Укор под обетом богу. Чахоточная тяга к смерти.

Боль в висках. Рыло проконопачено прыщами. Безглазое рыло.

Допустим, сегодня я излишне подробен в собственных проблемах, и даже указывая на них, я тайком внедряю мысль, как руки по локоть в молоко, что не хочу и не буду их разрешать.

Чернила наносят на бумагу вкрапления моих увечий. Их можно читать. Но больше всего стоит сказать о прирождённой пропасти, от которой человека по ходу его взросления уводят родители и тепло под одеялом, зимой, в безлунную ночь. Он покидает пропасть не спеша, а его голова тяготеет от достоинства и чести. Так рождаются семьи и строятся дома; так происходят тюремные свидания между убийцей и родственником, знавшим убитого; так любовь безмолвно вываливает язык, который хочется твари прикусить.

Однако почему же всякий, кто остался вселенски один, подбирается к пропасти? Что тянет его к разрушению чистоплотности и совести? Дурно она пахнет, яма, от неё несёт крокодилами, путаницей и молчанием. Человеку надобно будет заклеить рот, попав туда. Почему не отпугивает его холод пропасти, встреча со смертью или с тем, что хуже смерти, когда он, образумившись, стоя у края в чёрную гладь, задумчиво

кружит голову и думает: «Ступать али не ступать?» — ну что останавливает его от жизни? Самое горестное в этом заключение страждущего. Он принимает страдания с должным, чопорным всевластием. Двери распахиваются перед ним, как ночные окна, ведущие в день, и он падает. Ему суждено будет после умолять самого себя покончить с собой. Всякая надежда выкарабкаться исчезает из поля зрения страждущего.

***

Однажды, привыкнув к темноте, с воспалённой эмпатией, он закричит наверх: «Сестра!»

Она отзовётся, высунет красивую головку с тёмными волосами и губами. Поможет она. Но он, поклонившись, промолчит, и ничего не изменится. Её спасительный трос даже не будет им тронут.

Сентябрь — ноябрь 2025 г.